

Андрей Белый

КАМЕННАЯ
ИСПОВЕДЬ

критика

Москва, 2018

УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Б43

Белый, А.

Б43 Каменная исповедь / А. Белый. — М. : T8RUGRAM, 2018. — 204 с.

ISBN 978-5-521-06968-2

Андрей Белый (1880–1934) — известный писатель Серебряного века, поэт, критик, мемуарист, один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма.

«Каменная исповедь» — интересный сборник публицистических статей, посвящённых размышлениям автора о неославянофильстве и западничестве, русском символизме и культуре, исследованиям творчества известных поэтов, писателей и мыслителей, среди которых — Ю.А. Сидоров, В.В. Розанов, В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев, А.А. Блок и многие другие. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-06968-2

© T8RUGRAM, оформление, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогой памяти Ю. А. Сидорова	5
Отцы и дети русского символизма	9
Каменная исповедь	15
Правда о русской интеллигенции	33
Россия	39
Поэзия Блока	49
Будем искать мелодии	71
Сергею Александровичу Полякову	77
Трагедия творчества. Достоевский и Толстой	89
Александр Блок. Нечаянная Радость. Второй сборник стихов	171
Обломки миров	179
Неославянофильство и западничество в современной русской философской мысли	185
Символизм	195

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ Ю. А. СИДОРОВА

Когда я думаю о безвременно почившем Ю. А. Сидорове, мне всё кажется, что он не умер, а — с нами; вот уже более года, как его от нас похитила смерть, а весь облик его — всё живее, всё ближе; Ю. А. тесно вошёл в жизнь тех, кто его знал близко; в нём своеобразно сочеталось и преломлялось всё, что одушевляет многих из нас; наиболее сложные и мучительные вопросы современности получали особое освещение, когда их касался Ю. А. Слушая его, казалось, что он умеет говорить о том, что в нас ещё немо.

Ю. А. Сидоров был замечательный человек.

Когда я думаю о почившем, мне становится ясным одно: *замечательный человек не то, что замечательный писатель*; замечательных людей в том смысле, в каком был им покойный, менее, чем писателей; эти люди нужнее многих прекрасных книг, многих мудрёных трактатов. Те, кто помнит Сидорова, знают, что унёс он с собой; он унёс с собой редчайший дар, который делает человека знаменосцем целого течения. У Сидорова была непоколебимая вера в нравственную высоту чистого искусства, но в нём не было узости, иногда присущей людям, в которых мы находим все задатки проповедника; проповедь его заключалась в нём самом: в том, как он подходил к человеку, как этому человеку умело освещал он его самого. После нескольких бесед с покойным не раз мне казалось, что я лучше вижу и слышу в себе те струны души, которые звучали во мне бессознательно до разговора с покойным; я знаю, что то же испытывали многие. С появлением его

в том или другом кружке он невольно делался центром; это происходило само собой; говорившие с Сидоровым хоть раз серьёзно — уже не могли его забыть никогда: он сам являлся олицетворением и воплощением нравственной связи, без которой невозможна никакая группировка людей, а ведь только такая группировка обусловливает серьёзное течение мысли и творчества; вот почему без преувеличения можно сказать, что кончина Юрия Ананьевича поставила в невозможность целую группу лиц высказаться так, как было бы нужно высказаться, создать то, что теперь уже создано не будет; с ним ушло в могилу целое течение, как знать, может быть важное для России. Ю. А. был создан держать знамя; для этого мало быть интересным писателем: надо быть замечательными человеком; и он им был.

Замечательный писатель — часто человек вовсе не замечательный. Как же это возможно? Ведь писатель приковывает наше внимание тем, что отражает в творчестве глубокие стороны человеческого существа; можно выразить лишь ясно видимое вокруг себя; ясно же видишь то, что носишь в себе; носишь же в себе то, что хочешь носить: тут сталкивается человек с писателем: когда хочешь быть чем-либо, то это значит, что ещё цель не достигнута; если хочешь, то ещё только носишь; носить в себе своё «я» ещё не значит им быть; ясно видеть глубокие стороны жизни, значит ещё не слиться с созерцаемой глубиной; быть в глубине, значит не говорить о ней вовсе, а создавать вокруг себя ту непередаваемую атмосферу, для выражения которой нет слов: Юрий Ананьевич говорил много и жарко; слова его были всегда замечательны; они были гибки и тонки,

КАМЕННАЯ ИСПОВЕДЬ

светясь пронизательностью, умом, и всегда невзначай, поражая эрудицией; но вовсе не умные речи влекли нас к покойному. Он всегда говорил *не о том, чем он был*; за словами его вставала непередаваемая красота его молчаливой души, которая сказывалась в жесте и в ритме, с которым он подходил к людям.

И я уверен, что будь он писателем, оставившим после себя тома, он никогда не был бы в своих книгах тем, чем *он был для нас*; о, я знаю — он был бы *большим поэтом*: его юношеские опыты свидетельствуют о таланте; талант, вспыхнув, быстро и ярко в нём разгорался на наших глазах.

Но Сидоров не был только поэтом, — *большим*, несравненно *большим* он был для меня.

Я познакомился с Ю. А. всего за год до его кончины; говорил и встречался с ним мало, но каждая встреча запечатлевалась надолго в моей памяти, каждый разговор на многое, мне доселе не ясное, раскрывал глаза; и, глядя на покойного, я мысленно радовался, что есть Россия, есть русские... Пока среди хаоса современности, среди брожений неокрепшей мысли, истерических поступков и пустых фейерверков слов существуют люди, подобные Сидорову, не *талантливые только*, но и *нравственно мудрые*, чего нам бояться, ибо с нами Бог!

ОТЦЫ И ДЕТИ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

Перечитываешь знакомые страницы объемистой книги Вольтерского. Читаешь и невольно улыбаешься: все эти, хотя и умные, рассуждения веют таким далеким прошлым. Верно, точно, пожалуй, оригинально, но, Боже мой, до чего примитивна, известна, обща эта оригинальность. Приступая к еще непрочитанным страницам, испытываешь невольный иску прекратить чтение. Все, сказанное автором, мог бы, пожалуй, и сам рассказать себе, приняв стиль Вольтерского. Самым опасным ударом для авторского престижа является дерзкая мысль читателя, будто он знает все, что мог бы сказать автор.

Понимая стиль любого писателя, можно в разное время относиться и положительно, и отрицательно к этому стилю в зависимости от стадии своего внутреннего развития. Слишком хорошо известна людям нашей эпохи стадия отношения к Достоевскому, на которой стоит Вольтерский. Вот почему запас наблюдательности, остроумие, которыми элегантно блещет Вольтерский, превратились — остроумие в ходячее остроумие; наблюдательность — в общее место. Хорошо нам известен багаж обеих мест, необходимо нас встречающий на известной стадии понимания Достоевского. Слишком известны пределы этой стадии, а потому можно бы а priori вывести, что автор коснется *«богочеловека»* и *«человекобога»*, *«раздвоения сознания»*, *«трагизма сладострастия»* и т. д. и т. д. Всего этого и

касается автор. Мы уже не ждем «громов» и «гласов». Путь Достоевского и его школы нам хорошо известен. Вот почему анализ его творчества имеет для нас лишь историко-литературный интерес. С этой точки зрения труд Вольтинского является ценным вкладом в литературу о Достоевском. Даже более того: факт существования у нас исследований Мережковского, Вольтинского и Розанова приятно щекочет национальное самолюбие. Перед лицом Западной Европы мы можем сказать, что русская критика оценила и поняла великого отечественного писателя. Если бы не существовало у нас этих исследований, мы должны были бы краснеть за русскую критику. Теперь мы спокойны.

Когда Розанов пишет о поле, он сверкает. Горящие символы его безвременны. Времена, национальности группируются вокруг этих образов, как вокруг своего ядра. Возвращаясь к истории, он невольно перемещает народности. Достоевский оказывается египтянином. В Египте воскресают черты, нам близкие. Тут Розанов подлинно гениален. Тут имя его останется в веках.

Когда же кстати и некстати притаскивает крылатые видения Иезекииля к современным темам, горящие уголья его творчества покрываются серым налетом фельетонного пепла. «*Это писал усталый Розанов*», — хочется сказать, пробегая фельетон «Нового времени». Розанов, это — зоркая рысь, пронизывающая мрак лесных лабиринтов. Еще издалека узнаешь о его приближении, когда в лесном одиночестве засверкают огоньки зорких глаз. Розанов-фельетонист, это — рысь, посаженная в клетку. Лихорадочно мечется она взад и вперед,